

Владимир  
ЛАКШИН

# ЭПОС НОВОГО ВРЕМЕНИ

**В** МИР Толстого входит, как в необъятную страну, где своя сетка координат: свои города и реки, топография и этнография — реальная Москва и вымышленные Лысые горы. Страну, населенную множеством людей — молодых и старых, добрых и злых, веселых и печальных, умных и глупых, ветренников и тугодумов. Страну, где дерутся на дуэлях, кутят, празднуют, сражаются, гибнут от ран, танцуют, обедают, любят и ревнуют.

Четыре тома эпопеи Толстого читаешь не в один вечер. И эти дни, а иногда недели, которые живешь рядом с Толстым, привыкаешь к его героям, сживаешься с ними, как с близкими людьми. Князя Андрея, Пьера, Наташу, княжну Марью мы знаем едва ли не лучше, чем многих своих мимолетных знакомых, и помним через годы больше случайных друзей.

Говорят, что всякой книге нужен адрес, расчет на определенного читателя. «Война и мир» написана как бы безадресно: она не имеет в виду конкретный круг или слой читателей, возраст и положение. Иные главы книги годятся в хрестоматию для детей. Другие будто специально написаны для военных историков. Каждый ищет в эпопее свое. Каждый человек и каждый возраст.

\*\*\*

«Без ложной скромности — это, как «Илиада», — говорил Толстой о «Войне и мире» Горькому.

Толстой не тешит свое тщеславие. Он просто определяет жанр. Большой эпос, народная эпопея — вот что стояло перед его глазами образцом для письма.

Смелое воображение и точное знание, живое предание и интуиция художника, пережитой сердцем опыт и огромное наследие культуры — потребности были, чтобы возник этот феномен.

Толстой говорил, что прежде, чем начать работу, важно, чтобы под ногами у него выросли подмошки. Кроме жизненных впечатлений, душевных поисков, фантазий и дум, в которых созревает замысел, всегда важны подмошки литературные.

Готовясь к созданию «Войны и мира», Толстой открыл для себя Гомера. «Вот оно! чудо», — записал он в дневнике. Это было в конце 50-х — начале 60-х годов. Реже отмечают, что в круг его чтения в годы, прямо предшествовавшие созданию «Войны и мира», оказались и русские былины. В 1862 году, занимаясь с крестьянскими детьми в яснополянской школе, Толстой читает им вслух народные песни, былины, сказки, отрывки из древних летописей, старается объяснить ребятам красоты народной поэзии и сам восхищается вместе с ними.

Вообще еще далеко не осознано, по-видимому, все значение, какое имел опыт яснополянской школы для работы Толстого над романом. Между тем кое-что лежит на поверхности. Даже ключевые в «Войне и мире» понятие «скрытая теплота патриотизма» — след толстовских занятий в яснополянской школе. «Скрытая теплота» — принятый в то время термин физики, начала которой Толстой с увлечением растолковывал своим воспитанникам. Я уже не говорю о тех рассказах о Наполеоне и «живых картинах» из эпохи 1812 года, какие разыгрывались на уроках истории его учениками.

Теория искусства давно выяснила, что эпическая поэзия рождается как нечто объективно присутствующее национальной жизни, принадлежащее духу народа и в одном голосе поэта сливающееся с тысячами безымянных голосов. Отечественная война 1812 года была в XIX веке в России тем уникальным моментом национальной истории, когда народ в целом защищал себя. И это дало писателю возможность рисовать целостный и «нормальный» во

всех своих проявлениях, в беде и радостях эпический мир. Патриархальное утопическое мирозерцание Толстого как бы «совпало» с материалом: осветило его картину теплым, изнутри идущим светом, дало дух обжитого национального дома.

\*\*\*

Но «Война и мир» была эпосом нового времени. А это значило, что на месте легендарного предания встала письменная история со знанием, критической проверкой и опорой на источники. Хорошо известно, как тщательно изучил Толстой, работая над романом, многочисленные русские и французские исторические сочинения, мемуары, показания очевидцев, сколь запальчиво спорил с историографом Тьером.

Почти не отмечено другое. Подобно тому, как в гомеровский эпос входили готовые темы мифологии и образы, созданные и закрепленные безымянными распадами, эпопея Толстого стихийно и невольно, подобно губке, вобрала в себя, переосознав, поэтические и философские мотивы, и образы предшествующей русской литературы. И в этом смысле национальное, народное в «Войне и мире» заявило себя не только в картинах быта и изображении «дубины народной войны», эпизодических лицах Тихона Щербатого или старости Василисы, о чем чаще всего говорят в учебниках, но и в духовном содержании, опыте национальной культуры.

Всем знакомая, хрестоматийная, но неспособная насчитать сцены встречи князя Андрея с дубом по дороге в Отрадное... Дуб, стоявший старым уродом с обломанными сучьями, безлистный и никому не нужный, и, на обратной дороге, весь преображенный, раскинувшийся «шатром сочной, темной зелени» и внушивший надежду Болконскому: «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год...» Разве не вспоминаются при этом пушкинские деревья «на границе владений дедовских» в стихотворении «...Вновь я посетил»?

Зеленая семья;  
Под сенью их как дети.  
А вдали  
Стоит один угрюмый их товарищ,  
Как старый холостяк...

## ПЕРЕЧИТЫВАЯ

### «ВОЙНУ И МИР»

И то, что картина увядания и возрождения жизни повторена дважды, и что дважды сростается она с душевным состоянием героя, — не навязано ли это Толстому Пушкиным и вживлено не как цитата, а как родственное поэтическое понимание в свою художественную ткань.

Поле смерти в Аустерлице и мысль о бесконечном небе заставляют вспомнить красные от крови воды лермонтовской реки Валерик и восклицание поэта: «Небо ясно, под небом места много всем...». И точно так же салон Анны Павловны Шерер уже как бы предвещен в описании светского раута в «Онегине», а дуэлянт Долохов — не сколок ли с лермонтовских героев?

И все это, конечно, не повтор, не простое заимствование мотива, но как бы безотчетное использование в новом синтезе того, что принадлежит уже всем — времени, психологии, истории и знаменует собою русскую духовность, культурный опыт нации.

\*\*\*

Мало сказать, что не мифология и легенда, а история определяет движение толстовского эпоса. Это еще и история, понятая по-толстовски ново и дерзко. «...Каждый исторический факт, — записывает Толстой в дневнике, — необходимо объяснять **человечески** и избегать рутинных исторических выражений. Эпиграф к истории я бы написал: «Ничего не утаю». Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая...»

Разрушить миф, легенду, созданную слащавым преданием и закреплённую добротами-исто-

риографами, — вот чего хочет Толстой. Для него в тысячу раз выше и прекраснее неприбранная поэзия правды.

Опыт собственной судьбы, годы, проведенные на Кавказе, в Дунайской армии и на бастионах Севастополя, дали Толстому свое, незаемное понимание войны. Они открыли для него и дверь в психологию молодого человека на войне.

Когда перечитываешь толстовский дневник 1852—1855 годов, будто то и дело разговариваешь с Андреем Болконским, каким мы видим его в первой книге романа. Тут рядом и юношеское желание отличиться, надежды на награду («Известие о том, что мне не вышло креста, очень огорчило меня...»), тщеславные помыслы при откомандировании в штаб Дунайской армии под покровительство старого приятеля отца, и ошеломляющее искреннее открытие: «Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести».

Искание прототипов — обычно мало успешное, огрубляющее процесс творчества дело. Вернее, пожалуй, говорить о *прототипах и протонастроениях*. Болконский в 1805 году переживает у Толстого то, что самому автору пришлось почувствовать и пережить на Кавказе, на Дунае и в Крыму. Он приходит к пониманию того, что самые точные реляции с места боя обычно не дают понятия о сражении, тонко продуманные штабные планы почти всегда не осуществляются сполна, а подвиги в рассказах ветеранов выглядят красивее, чем на деле, и настоящие герои нередко остаются в тени.

26 ноября 1854 года Толстой записал в дневнике поразивший его случай, когда офицер, командовавший Екатеринбургским полком, сделал успешную вылазку в неприятельские траншеи. А после, представленный великому князю в присутствии командующего Меншикова и генерала Философова, растерялся перед ними, как мальчишка.

«Так вы герой этого дела? — сказал ему князь, — расскажите, как было дело». — «Когда я пошел с бастиона и стал подходить к траншее, солдаты остановились и не хотели идти». — «Ну что вы говорите...» — сказал князь, отходя от него. «Нам вам не совестно», — заметил ему Философов. «Ступайте прочь», — заключил Меншиков. «Я уверен, — прибавляет Толстой, — что офицер не врал и жалел, что он не убабука».

Как напоминает этот эпизод смущенное топтание капитана Тушина в палатке Багратиона, куда он, конфузясь, вошел с докладом, зацепившись по дороге за древко знамени, и, как сбившийся ученик, не сумев объяснить свою правоту.

Попытка «человечески» объяснить и показать историю не была принята, как водится, старшими современниками Толстого, составившими в воображении свою версию событий, в которых они когда-то участвовали. Престарелый сановник граф А. Е. Норов, бывший молодым офицером под Бороудином, написал статью в «Военном сборнике» (1868, № 11), где говорил, что «не мог без оскорбленного патриотического чувства дочитать этот роман». Он возмущался и изображением салона Анны Павловны Шерер, и картинами отступления, и даже той подробностью, что у Толстого Кутузов накануне решающего сражения читает роман госпожи Жанлис, — кто в то время из русских офицеров мог не только читать, но и думать о романах французской Жанлис!

Однако с этой книгой произошла презанятная история. Разбравший после смерти Норова его архив и библиотеку Михайловский-Данилевский обнаружил в этом собрании роман мадам Жанлис «Похождения Родерика Рондома» с собственноручной надписью на нем Норова: «Читал в Москве раненый и взятый

в плен французами в сентябре 1812 года». Спустя 50 лет сановник начисто забыл то, что случилось с ним самим и что угадал как черточку времени воспользовавшийся «человеческим» подходом к истории Толстой.

Кутузов как великий народный полководец открывается нам вернее не в парадных портретах, простирающим на римский манер руку к войску, а как «русский дедушка», глазами девочки Малашки, свесившей головенку с печи во время военного совета в Филях. И точно так же, вопреки всей традиции «наполеоновской темы», изображает Толстой французского полководца.

\*\*\*

Романтический облик героя, вдохновенным порывом обернувшегося к своим солдатам на Аркольском мосту, запечатлен яркой кистью художника Гро, увидевшего его в истории таким, как хотелось бы, верно, самому Бонапарту. И для князя Андрея Тулон и Аркольский мост — надолго символ желанной славы. Но автор-то уже понимает его иначе, когда в дневниковой записи 19 марта 1865 года пишет: «На Аркольском мосту упал в лужу вместо знамя».

Свержение кумира Наполеона в душе героя — быть может, главное внутреннее содержание первого тома романа «Война и мир». С начальной сцены в салоне Шерер герои спорят, говорят, думают о Наполеоне — он занимает крупное место в сознании поколения, к какому принадлежит и Болконский, и Пьер Безухов. Для молодых людей начала XIX века эта фигура трижды привлекательна: он дитяще французской революции, герой республики, начавший карьеру подавлением королевских повстанцев в Тулоне: он образец неслыханно удачливой судьбы, молодого взлета славы; он же — военный гений, полководец, заставивший трепетать старую Европу.

Стало быть, не зря и князь Андрей, и Пьер в начале романа видят в Наполеоне героя, а старики консерваторы, по той же логике, бранят его как «кровавое корсиканское чудовище», зовут не иначе, как «враг человечества».

Пьер Безухов увлечен Наполеоном как деятелем революции, взорвавшей старый мир, и даже ужасное неблагоприятство, коварное убийство соперника героя Энгельсского готов оправдать в свете государственной необходимости. Не маячит ли уже здесь проблема Достоевского, проблема Раскольникова с его «наполеонизмом»: можно ли через кровь, через несправедливые средства прийти к благой цели?

Для князя Андрея же Наполеон — воплощение военного гения, герой победоносных войн, внушающий им, детям нового века, надежду на «свой Тулон». В войне 1805 года князь Андрей сражается как русский офицер и патриот против войск Бонапарта, втайне мечтая подражать ему, пока, тяжело раненный на Аустерлицком поле, не увидит перед собою маленького человека в сером сюртуке, «с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом».

Тут, в конце первого тома, Наполеон, о котором все лишь говорили и думали, появляется сам — наглядно и крупно. Ответственное дело для писателя — выбрать момент появления на сцене такого героя. Выбор был сделан, по-видимому, когда в дневниковой записи, нами уже частично цитированной, появилось саркастическое замечание: «Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненные — радость». Наклонившийся над повшим Болконским Наполеон — воплощение самодовольства и исторической позы.

Образ тулонского героя изжит в сердце главных героев и читателей толстовского романа — и это внутренне готовит нас к рассказу об эпохе 1812 года.

Роман «Тысяча восемьсот пятый год» — первая часть «Войны и мира», — так крупно и ново поставивший тему Наполеона, печатался в журнале «Русский вестник» с января 1865 года. А уже с января 1866-го в том же журнале начал публиковаться другой роман — «Преступление и наказание» Достоевского, где за бледным

## Книжная графика



Напутствие Болконского-отца Андрею.  
С работы художника В. А. СЕРОВА.

нервным профилем петербургского студента рисовалась проекцией фантастическая тень — фигура в треуголке со скрещенными на груди руками: «Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил...»

Для нас небезразлично, что почти одновременно Наполеон вновь, после Пушкина, занял такое место в раздумьях двух гениев русской литературы в переломную пору 60-х годов. Обычно отмечают черты, разделяющие Толстого и Достоевского, но, наверное, при небеглом взгляде у них найдется и немало общего.

«Ежели есть бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель...» — говорит Пьер князю Андрею на пароме, глядя на красный свет солнца по сиенному разливу. Не о том ли будут главные «за» и «против» в «Братьях Карамазовых»?

Есть поразительные для наблюдателя (и независимые от влияний) встречи тем и ситуаций в великой русской литературе.

\*\*\*

Толстой говорил А. В. Жиркевичу: «В «Войне и мире» отдельные лица ничего не значат перед стихийностью событий». На место античного понятия рока, судьбы, приходит у Толстого понятие жизни в ее стихийном течении и разливе. В философско-исторических отступлениях, в «Эпilogе» к роману Толстой задирист, полемичен: ему важно доказать значение народной войны, массы, которая в историческом действии увлекает за собой или подминает под себя «вождей и героев».

«Стихийность», защищаемая Толстым как исконное доброе свойство душ и чувств, наглядна и в психологическом строе романа, в изображении «частных лиц». «Стихийное» — главная прелесть Наташи Ростовой — ее искренность, близость к природе, родной почве.

Толстой считал важнейшим психологическим «узлом» романа порыв страсти Наташи к Анатолию Курагину. И не оттого лишь, что героиня получает нелегкий жизненный урок. Здесь вырвалась наружу сила жизни — непредсказуемой, незапланированной наперед.

Наташа объясняет брату свою антипатию к Долохову: «У него все назначено, а я этого не люблю». Она не терпит в людях сухого расчета, заранее навязанного взгляда — ее чувство открыто навстречу жизни. В этом ее незащищенность, но и ее сила.

Случалось, Толстого упрекали, и больше всего как раз те, кто считал его «учителем жизни», в непоследовательности его учения и морали, в том, что у него «семь пятниц на неделе». Сын писателя — Илья Львович пытался защитить отца, объяснить природу его как человека и художника. «Я хочу сказать, — писал Илья Львович, — что его и до сих пор не понимают, как следует. Ведь он состоял из Наташи Ростовой и Ерошки, из князя Андрея и Пьера, из старика Болконского и Каратаева, из княжны Марьи и Холстомер...» Здесь названы среди других шесть героев «Войны и мира», и на первом месте — Наташа.

Когда княжна Марья и Наташа, прежде разделенные ревнивой враждебностью, встречаются у постели умирающего князя Андрея, они, по воле автора, начинают понимать друг в друге: одна — поэзию «покорности и самоотвержения», другая — «поэзию веры в жизнь и наслаждения жизнью».

Покорность и самоотвержение в теории ближе Толстому-моралисту. Но как же неодолимо для него очарование живой жизни!

У Толстого очень яркое чувство настоящего времени. И это при том, что его идеал лежит обычно позади, в области прошлого. В художественных сценах «Войны и мира» — ощущение единственного мига, свершающегося сейчас, переживаемого и не отгоревшего. Не воздыхание, не элегия, а страсть. Не воспоминание, а живое переживание и действие.

(Окончание на 13-й стр.)

# ЭПОС НОВОГО ВРЕМЕНИ

(Окончание.)

Начало на 6—7-й стр.)

«Ну, как можно спать! — вызывает Наташа к Соне, забравшись на подоконник в лунную ночь в Отрадном... — Да проснись же, Соня... Ведь заданой прелестной ночи никогда, никогда не бывает!»

Героев Толстого молодое счастье жить, чувствовать заполняет до краев, порою до слез, до судороги в горле. В отличие от другого гения русской литературы — Достоевского, который обнаруживает зло уже где-то в сердцевине жизни, заложенным в самих страстях, в натуре человека, у Толстого — всякая боль, всякое уродство и искажение выглядят как наносное. Толстой — это величайшие метания духа и огромное здоровье натуры художника. Это радость как норма бытия.

Возрождается, казалось, убивая горем и стыдом Наташа Ро-

стова, и улыбка на ее лице медленно проступает навстречу Пьеру, «как отворяется заржавленная дверь». Но, может быть, еще ярнее другое толстовское сравнение оживающей души Наташи с молодой травой, победной силой природы.

«Она не знала этого, не поверила бы, но под назвавшимся ей непроницаемым слоем ила, заставшим ее душу, уже пробивались тонкие, нежные, молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившее ее горе, что его скоро будет не видно и незаметно. Рана зажила изнутри».

Сама потеря, гибель, смерть, по ощущению Толстого, не ужас бездонный, а тоже часть жизни, переход к чему-то иному, и тяжел лишь момент прощания и изживания прошлого, а жизнь не перечеркнута никогда.

Толстой — героический оптимист. Умный оптимист. Бывает оптимизм розовый, поросячий, с вечно глуповатой улыбкой на устах и удивлением на все на свете. Оптимизм Толстого зрячий.

Его великий эпос — «Война и мир» — напоминает человеку всегда, человеку, вдруг поникшему под ношей обстоятельств или безрадостных впечатлений дня, будничной усталости: жизнь огромна, ее проявления и дары неожиданны, завтра может случиться нечто хорошее, о чем и не ведаешь сегодня. Даже в дурном часто есть смысл, сразу нами не разгаданный, от которого идет дорога к добру.

И вообще дар жизни — удача и радости! Радость любви, семьи, победы, высокой думы, природы, воздуха, неба над головой в голубой день...

С таким чувством расстаемся мы с героями Толстого в этой великой, нестареющей книге.

8 сентября 1978 г.

233